

Михаил Салтыков-Щедрин

Святочный рассказ



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Святочный рассказ

*Текст предоставлен правообладателем
Святочный рассказ:*

Аннотация

«...Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем, по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой всю окрестность... Горы, речки, овраги – все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега...»

Содержание

I	4
II	27
III	44

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Святочный рассказ (из путевых заметок чиновника)

I

В 18**году, и именно в ночь на рождество Христо-во, пришлось мне ехать по большому коммерческому тракту, ведущему от города Срывного к Усть-Дёминской пристани. «Завтра или, лучше сказать, даже сегодня, большой праздник, – думал я, – нет того человека в целом православном мире, который бы на этот день не успокоился и не предался всем отрадам семейного очага; нет той убогой хижины, которая не осветилась бы приветным лучом радости; нет того нищего, бездомного и увечного, который не испытал бы на себе благотворное действие великого праздника! Я один горьким насильством судьбы вынужден ехать в эту зимнюю, морозную ночь, между тем как все мыс-

ли так естественно и так неудержимо стремятся к теплему углу, ехать бог весть куда и бог весть зачем, перестать жить самому и мешать жить другим?» Мысли эти неотступно осаждали мою голову и делали положение мое, и без того неприятное, почти невыносимым. Все воспоминания детства с их безмятежными, озаренными мягким светом картинками, все лучшие часы и даже мгновения моего прошлого, как нарочно, восставали передо мной самыми симпатичными, ласкающими своими сторонами. «Как было тогда хорошо! – отзывался тихий голос где-то далеко, в самой глубине моей души, – и как, напротив того, все теперь неприятно и безучастно вокруг!»

Кибитка между тем быстро катилась, однообразно и мерно постукивая передком об уступы, выбитые копытами возовых лошадей. Дорога узенькою снеговой лентой бежала все вдаль и вдаль; колокольцы, привязанные к низенькой дуге коренника, будили оцепеневшую окрестность то ясным и отчетливым звоном, когда лошади бежали рысью, то каким-то беспорядочным гулом, когда они пускались вскачь; по временам этот звон и гул смешивался с визгом полозьев, когда они врезывались в полосу рыхлого снега, нанесенную внезапным вихрем, по временам впереди кибитки поднималось и несколько мгновений стояло недвижно в воздухе облако морозной пыли, застилая собой

всю окрестность... Горы, реки, овраги – все как будто замерло, все сделалось безразличным под пушистою пеленою снега.

«Зачем я еду? – беспрестанно повторял я сам себе, пожимаясь от проникавшего меня холода, – затем ли, чтоб бесполезно и произвольно впасть в жизнь и спокойствие себе подобных? затем ли, чтоб удовлетворить известной потребности времени или общества? затем ли, наконец, чтоб преследовать свои личные цели?»

И разные странные, противоречивые мысли одна за другой отвечали мне на этот вопрос. То думалось, что вот приеду я в указанную мне местность, приучусь, с горем пополам, в курной избе, буду по целым дням шататься, плутать в непроходимых лесах и искать... «Чего ж искать, однако ж?» – мелькнула вдруг в голову мысль, но, не останавливаясь на этом вопросе, продолжала прерванную работу. И вот я опять среди снегов, среди сувоев, среди лесной чащи; я хлопчу, я выбиваюсь из сил... и, наконец, мое усердие, то усердие, которое все преодолевает, увенчивается полным успехом, и я получаю возможность насладиться плодами моего трудолюбия... в виде трех-четырёх баб, полуглухих, полуслепых, полубезногих, из которых младшей не менее семидесяти лет!.. «Господи! а ну как да они прослышали как-нибудь? – шеп-

чет мне тот же враждебный голос, который, очевидно, считает обязанностью все мои мечты отравлять сомнениями, – что, если Еванфия... Е-ван-фи-я!.. куда-нибудь скрылась?» Но с другой стороны... зачем мне Еванфия? зачем мне все эти бабы? и кому они нужны, кому от того убыток, что они ушли куда-то в глушь, сложить там свои старые кости? А все-таки хорошо бы, кабы Еванфию на месте застать!.. Привели бы ее ко мне: «Ага, голубушка, тебя-то мне и нужно!» – сказал бы я. «Позвольте, ваше высокоблагородие! – шепнул бы мне в это время становой пристав (тот самый, который изловил Еванфию, покуда я сидел в курной избе и от скуки посвистывал), – позвольте-с; я дознал, что в такой-то местности еще столько-то безногих старух секретно проживает!» – «О боже! да это просто подарок!» – восклицаю я (не потому, чтоб у меня было злое сердце, а просто потому, что я уж зарвался в порыве усердия), и снова спешу, и задыхаюсь, и открываю... Господи! что я открываю!.. Что ж, однако ж, из этого, к какому результату ведут эти усилия? К тому ли, чтоб перевернуть вверх дном жизнь десятка полуистлевших старух?.. Нет, видно, в самой мыслительной моей способности имеется какой-нибудь порок, что я даже не могу найти приличного ответа на вопрос, без того, чтоб снова действием какого-то досадного волшебства не возвратиться все

к тому же вопросу, из которого первоначально вышел.

Между тем повозка начала все чаще и чаще постукивать передком; полозья, по временам раскатываясь, скользили по обледенелому черепу дороги; все это составляло несомненный признак жилья, и действительно, высунувшись из кибитки, я увидел, что мы въехали в большое село.

– Вот и до места доехали! – молвил ямщик, поворачиваясь ко мне.

Заиндевевшая его борода и жалкий белый пониток, составлявший, вместе с дырявым и совершенно вытертым полушубком, единственную его защиту от лютого мороза, бросились мне в глаза. Странное ощущение испытал я в эту минуту! Хотя и обледенелые бороды, и худые белые понитки до того примелькались мне во время моих частых скитаний по дорогам, что я почти перестал обращать на них внимание, но тут я совершенно невольным и естественным путем поставлен был в невозможность обойти их.

«Как-то придется тебе встретить Христов праздник! – подумал я и тут же, по какому-то озорному сопряжению идей, прибавил: – А я вот еду в теплой шубе, а не в понитке... ты сидишь на облучке и беспрестанно вскакиваешь, чтоб попугать кнутом переднюю лошадь, а я сижу себе развалившись и занимаюсь мечтаниями... ты должен будешь, как приедешь на

станцию, прежде всего лошадей на морозе распречь, а я велю вести себя прямо в тепло, велю поставить самовар, велю напоить себя чаем, велю собрать походную кровать и засну сном невинных»...

В селе было пусто; был шестой час утра, а в это время, как известно, по большим праздникам идет уже обедня в тех селах, где нет помещиков и где массу прихожан составляет серый народ. И действительно, хотя мы почти мгновенно промчались мимо церкви, но я успел, сквозь отворенную ее дверь, рассмотреть, что она полна народом, что глубина ее горит огнями по-праздничному и что густой пар стоит над толпою, одевая туманом и богомольцев, и ярко освещенный иконостас.

Наконец лошади остановились у просторной избы. Это была станция, но не почтовая, где, хоть с грехом пополам, путешественник может приютить свою голову без опасения быть ежеминутно встревоженным шумом и говором людей, хлопаньем дверей и незапылающею деятельностью дня; это была простая изба, назначенная по отводу для отдыха проезжающих по казенной надобности чиновников, куда собирают для них свежих обывательских лошадей. Сверх моего ожидания, горница, в которую меня ввели, оказалась просторною, теплою и даже чистою; пол и вделанные по стенам лавки были накануне выскоблены и

вымыты; перед образами весело теплилась лампадка; четырехугольный стол, за которым обыкновенно трапезуют крестьяне, был накрыт чистым белым пересбором, а в ближайшем ко входу угле, около огромной русской печи, возилась баба-денщица, очевидно спеша окончить свою стряпню к приходу семейных от обедни. На одной из лавок, возле переднего угла, сидел слепой и ветхий дедушко, вроде тех, которыми почти фаталистически снабжается всякая сколько-нибудь многочисленная крестьянская семья, и держал в руке деревянную палку, которою задумчиво чертил по полу. Он делал это дело с необычайным терпением, как будто оно составляло последнюю задачу его жизни, и, нащупав палкою какую-нибудь неровность, сердился и ворчал.

Приезд мой не произвел, однако ж, особенного впечатления, так как, по случаю отвода избы под станцию, хозяева ее скоро свыкаются с общим видом чиновника, которого появление составляет в кругу их факт почти ежедневный. Денщица, которая, по рассмотрении, оказалась молодухой, продолжала усердно делать свое дело, а дедушко по-прежнему водил палкой по полу и ворчал про себя. На полатях возились и потягивались ребятишки.

– Далеко отсюда становой живет? – спросил я.

– Да верст, чай, с восемь будет, – отвечала денщи-

ца, действуя в то же время ухватом, которым отправляла в печь горшок с похлебкой.

– А ты говори дело, а не «чай», – вступился мой спутник и камердинер Гриша, во всякое другое время очень добрый малый, но теперь сильно озлобившийся вследствие мороза и других дорожных неприятностей.

– А вот мужики придут – они тебе дело и скажут... Ишь, больно строг: с бабы спрашивает!

– Эх ты! баба так баба и есть, – отозвался Гриша, но с таким глубоким презрением, что я сразу сознал глубокую разницу, существующую между привилегированным полом и непривилегированным.

– Никак, кто пришел? с кем это ты, Татьяна, разговариваешь? – откликнулся дедушко.

– Становой далеко отсюда живет? – спросил я, обращаясь к старику.

– Ась.

– Ишь ты! глухие да глупые – вот и жди от них толку! – злобно заметил Гриша.

– Барин приехал... чиновник, дедушко! – кричала между тем Татьяна, наклонясь к самому уху старика, – спрашивают, далече ли до станowego будет?

– Да верст пяток поболее будет, – прошамкал старик, – выедешь ты, сударь, за околицу и поезжай все вправо... там три сосенки такие будут... древние, су-

дарь, еще дедушко мой их помнил – во какие сосны!.. От них повертывай прямо направо, будет тебе там озеро, и поезжай ты через него все прямо, все прямо... Летом-то, сударь, здесь-ко не проедешь, а надо кругом; так в ту пору вместо пяти-то верст и пятнадцать поди будет!.. Ну, а за озером прямо и представится тебе господин становой... так-то.

– Так нельзя ли лошадей поскорей заложить? – спросил я.

– А у нас и робят-то никого нет, все в церкву ушли, – отвечала молодуха, – видно, уж тебе, барин, обождать придется!

– Дедушко! как бы лошадей заложить? – снова спросил я, наклонясь к дедушке.

– А что ж, сударь, для че не заложить! кони ноне дома, мигом заложат! Татьяна, сбегай по-мужа-то, скажи, мол, чиновник наехал!

Но покуда Татьяна собиралась, семейные уж возвратились из церкви и гурьбой ввалились в избу. Прежде всех, как водится, влетел никем не прошенный клуб морозного воздуха и мигом наполнил комнату белесоватым туманом; за ним вошел старший сын дедушки, мужичок лет пятидесяти с лишком, очень сановитой и бодрой наружности, одетый по-праздничному, в синюю сибирку.

– С праздником, батюшка! – сказал он, помолив-

шись наперед образам, – бог милости прислал!

– Ну, слава богу, слава богу! – прошамкал старик, привставая с лавки, – вот и опять мы с праздником! С вами, что ли, некрут-то?

– Здесь, дедушко, будь здоров! – молвил, выступая вперед, молодой парень.

Я вспомнил, что по случаю военных обстоятельств объявлен был в то время чрезвычайный набор, и невольно полюбопытствовал взглянуть на рекрута. Физиономия его была чрезвычайно симпатична: хотя гладко выстриженные волосы несколько портили его лицо, тем не менее общее его выражение было весьма приятно; то было одно из тех мягких, полустыдливых, полужастенчивых выражений, которые составляют почти общую принадлежность нашего народного типа. Смирно стоял он перед стариком-дедушкой в своем коротеньком рекрутском полушубке, засунув руку за пазуху и слегка понутив голову; в голубых его глазах не видно было огня строптивости или затаенного чувства ропота; напротив того, вся его любящая, беспредельно кроткая душа светилась в этом задумчивом и рассеянно блуждавшем взоре, как бы свидетельствуя о его вечной и беспрекословной готовности идти всюду, куда укажет судьба.

– Ну, дай бог здоровья начальникам... отпустили тебя, Петруня... и нас сделали с праздником, – сказал

старик.

Покуда старик говорил, сзади у печки слышались сначала вздохи, а потом и довольно громкие всхлипывания. Петруня как-то болезненно весь сжался, услышав их.

– Ну вот, пошла баба голосить! уйми ты ее, Иван! – обратился старик к старшему сыну, – нешто лучше бы было, кабы не отпустило сына-то... так ты бы радовалась, не чем горевать!

– Так неужто ж и пожалеть нельзя! – отозвалась из угла баба, – собирались ноне женить в мясоед парня, ан замест того вон он куда угодил... и не чаяли!

Петруня, казалось, еще более сжался при последних словах матери.

– Ничего, с богом... не на грех идет! чай, еще не сколько мученья-то принял, Петруня? – спросил дедушко.

– Мученьев, дедушко, нет; а вот унтер сказывал, что через десять дён в поход идти велено, – отвечал Петруня тихо и дрожащим голосом.

– Ну что ж, и в поход пойдешь, коли велено! Да ты слушай, голова! и я ведь молоденец бывал, тоже чуть-чуть в некруты в ту пору не угодил... уж и что хлопот-то у нас в те поры с батюшкой вышло!

– То-то «чуть-чуть»! – в сердцах ворчала мать, – вот не сдали же, а тут как есть один сын, да и тот не в дом,

а из дому вон бежит!

– А кто ж тебе не велел другого припасти! – сказал дедушко полушутливо, полудосадливо, – то-то вот, баба: замест того, чтоб потешить сыночка о празднике, а она еще пуще его в расстрой приводит! Ты пойми, глупая, что он у тебя в гостях здесь! Вот ужо вели коней в саночки запречь... погуляй покуда, Петруня, с робятками-то, погуляй, милой!

Иван, однако, не принимал никакого участия в разговоре. Он спокойно раздевался в это время и вместе с тем делал обычные распоряжения по дому. Но это равнодушие было только кажущееся, а в сущности он не менее жены печалился участью сына. Вообще, нашего крестьянина трудно чем-нибудь расшевелить, удивить или душевно растрогать. Ежеминутно имея прямое отношение лишь к самой незамысловатой и неизукрашенной действительности, ежеминутно встречая лицом к лицу свою насущную жизнь, которая часто представляет для него одну бесконечную невзгону и во всяком случае многого никогда ему не дает, он привыкает смело смотреть в глаза этой суровой мачехе, которая по временам еще осмеливается заговаривать льстивыми голосами и называть себя родной матерью. Поэтому всякая потеря, всякая неудача, всякое безвременье составляют для крестьянина такой простой факт, перед которым нечего

и задумываться, а только следует терпеливо и бодро снести. Даже смерть наиболее любимого и почитаемого лица не подавляет его и не производит особенного переполоха в душе; мало того: я не один раз видал на своем веку умирающих крестьян, и всегда (кроме, впрочем очень молодых парней, которым труднее было расставаться с жизнью) замечал в них какое-то твердое и вместе с тем почти младенческое спокойствие, которое многие, конечно, не затруднились бы назвать геройством, если бы оно не выражалось столь просто и неизысканно. Все страдания, все душевные тревоги крестьянин привык сосредоточивать в самом себе, и если из этого правила имеются исключения, то они составляют предмет хотя добродушных, но всегда общих насмешек. Таких людей называют нюнями, бабами, стрекозами, и никогда расудливый мужик не станет говорить с ними об деле. Правда, дрогнет иногда у крестьянина голос, если обстоятельства уж слишком круто повернут его, изменится и как будто перекосится на миг лицо, насупятся брови – и только; но жалоба, суетливость и бесплодное аханье никогда не найдут места в его груди. Повторяю: невзгода представляется для крестьянина столь обычным фактом, что он не только не обороняется от него, но даже и не готовится к принятию удара, ибо и без того всегда к нему готов. Вся чувствитель-

ность, все жалобы он, кажется, предоставил в удел бабам, которые и в крестьянском быту, как и везде, по самой природе, более склонны представлять себе жизнь в розовом цвете и потому не так легко примиряются с ее неудачами.

– Рекрут, что ли, у вас? – спросил я Ивана.

– Рекрут, сударь, сыном мне-ка приходится.

– А велика ли у вас семья?

– Семья, нечего бога гневить, большая; четверо нас братовой, сударь, да детки в закон еще не вышли... вот Петрунька один и вышел.

– Тяжело, чай, расставаться-то?

Иван с изумлением взглянул на меня, и я, не без внутренней досады, должен был сознаться, что сделанный мною вопрос совершенно праздный и ни к чему не ведущий.

– Божья власть, сударь! – отвечал он и, обращаясь к старику, прибавил: – Обедать, что ли, собирать, ба-тюшка?

– Вели собирать, Иванушко, пора! чай, и свет скоро будет!.. Да за конями-то пошли, что ли?

– Давно Васютку услал, приведут сейчас.

Петруня между тем незаметно скрылся за дверь. Несмотря на то, что изба была довольно просторная, воздух в ней, от множества собравшегося народа, был до того сперт, что непривычному трудно бы-

ло дышать в нем. Кроме сыновей старого дедушки с их женами, тут находилось еще целое поколение подростков и малолетков, которые немилосердно возились и болтали, походя пичкая себя хлебом и сдобными лепешками.

– Кто-то вот нас кормить на старости лет будет? – промолвила между тем хозяйка Ивана, по-прежнему стоя в углу и пригорюнившись.

– Чай, братовья тоже есть, семья не маленькая! – отвечал дедушко, с трудом скрывая досаду.

– Да, дожидайся, пока они накормят... чай, по тех пор их и видели, поколь ты жив.

– Не дело, Марья, говоришь! – заметил второй брат Ивана.

– Ее не переслушаешь! – отозвался третий брат.

Окончания разговора я не дослушал, потому что не мог долее выносить этого спертого, насыщенного парами разных похлебок воздуха, и вышел в сенцы. Там было совершенно темно. Глухо доносились до меня и голоса ямщиков, суетившихся около повозки, и дребезжащее позвякивание колокольцев, накрепко привязанных к дуге, и еще какие-то смутные звуки, которые непременно услышишь на каждом крестьянском дворе, где хозяин живет мало-мальски запасливо.

– Как же быть-то? – сказал неподалеку от меня милый и чрезвычайно мягкий женский голос.

– Как быть! – повторил, по-видимому, совершенно бессознательно другой голос, который я скоро признал за голос Петруни.

– Скоро, чай, и сряжаться станете? – снова начал женский голос после непродолжительного молчания.

Петруня не промолвил ни слова и только вздохнул.

– Портяночки-то у тебя теплые есть ли? – вновь заговорил женский голос.

– Есть.

– Ах, не близкая, чай, дорога!

Снова наступило молчание, в продолжение которого я слышал только учащенные вздохи разговаривающих.

– Уж и как тяжко-то мне, Петруня, кабы ты только знал! – сказал женский голос.

– Чего тяжко! чай, замуж выдешь! – молвил Петруня дрожащим голосом.

– А что станешь делать... и выду!

– То-то... чай, за старого... за вдовца детного...

– За старого-то лучше бы... по крайности, хоть любить бы не стала, Петруня!

– А молодого небось полюбила бы!.. То-то вот вы: потоль у вас и мил, поколь в глазах! – сказал Петруня, которого загодя мучила ревность.

– Ой, уж не говори ты лучше!.. умерла бы я, не чем с тобой расставаться – вот сколь мне тебя жалко!

– А меня небось в сражениях убьют, покуда ты здесь замуж выходить будешь!.. детей, чай, народишь!.. Вот унтер намеднись сказывал, что в сраженье как есть ни один человек цел не будет – всех побьют!

Вместо ответа мне послышались тихие, словно детские, всхлипывания.

– Ну что ж, и пушай бьют! – продолжал Петруня, находя какое-то горькое удовольствие в страданиях своей собеседницы.

Всхлипывания послышались горче прежнего.

– Ах, пропадай моя голова... хочешь, сбегу, Мавруша? – внезапно спросил Петруня.

– Что ты, что ты, Петруня! что ж это будет! – отвечала Мавруша голосом, в котором слышался испуг.

– Убегу, да и все тут, – продолжал Петруня, – уйду в леса к старцам... ищи, лови тогда!

– Стариков-то твоих, чай, в ту пору так и засудят! – робко заметила Мавруша.

Петруня молчал.

– В разоренье поди приведут? – продолжала Мавруша, как бы рассуждая сама с собой.

То же молчание.

– Нет, ты уж лучше не бегай, Петруня! как-нибудь, бог даст, и свидимся!

– То-то «свидимся»! замуж, чай, хочется, а не «сви-

димся!» Ты бы напрямки так и говорила... а то «свидимся». Так бежать, что ли?

– Куда ж бежать? коли для меня ты хочешь бежать, так я за тобой ведь бежать не могу!

Петруня заплакал.

– Петруня! желанный ты мой! – прошептала Мавруша.

Петруня заплакал пуще прежнего.

– Ох, да хоть бы не плакал ты! – сказала Мавруша каким-то утомленным, замученным голосом.

– Вот какво дело, что и пособить нечем! – говорил Петруня, обрываясь почти на каждом слове, – куда я теперь денусь? Ох, да подумай же ты, Мавруша, как бы нам хорошо-то было!.. жили бы мы теперь с тобой... и мясоед вот на дворе... И все-то ведь прахом пошло... точно ничего и не было! Намеднись вот унтер сказывал, верст тысячи за две поведут... так когда же тут свидеться!

– Петруня! где же ты запропал! – раздался сзади меня голос женщины.

– Здесь; обедать, что ли? – откликнулся Петруня.

– Обедать дедушко зовет.

– Сейчас. Прощай, Мавруша! ноне к ночи надо опять в город ехать... прощай! может, уж и не свидимся!

– Разве на село-то не пойдете с партией? хошь бы

посмотрела я на тебя!

– Нет, по почтовой пойдем; вот разве что: ужо де-душко коней посулил... погуляем, что ли?

– Не пустят, Петруня, – тихо отвечала Мавруша, – а уж как бы не погулять! Старики-то ноне у меня больно зорки стали: поди и теперь, чай, ищут меня!

– Ну, так ин бог с тобой, прощай же, Мавруша.

Голоса стихли, но Петруня несколько времени еще не приходил в избу; минуты с две слышались мне и глубокие вздохи, и неясный шепот, прерываемый рыданиями, и стало мне самому так обидно, тяжело и больно, как будто внезапно лишили меня всего, что было дорого моему сердцу. «Вот, – думал я, – простая, кажется, с виду штука, а поди-ка переживи ее!» И должно сознаться, что до тех пор никогда эта мысль не заходила мне в голову.

– Иди, что ли! – снова раздался сзади меня голос денщицы.

– Иду, иду! – отвечал Петруня. – Прощай, Мавруша! – продолжал он каким-то гортанным, задыхающимся голосом, – прощай же, касатка!

И вслед за тем он бегом взбежал на лестницу и направился быстрыми шагами в избу.

Когда я через четверть часа снова вошел в избу, вся семья обедала, но общий ее вид был нерадошен. Какое-то принуждение носилось над ней, и хотя де-

душко старался завести обычную беседу, но усилия его не имели успеха. Иван молчал и смотрел угрюмо; Марья потихоньку всхлипывала; Петруня сидел с заплаканными глазами и ничего не ел; прочие члены семьи, хотя и менее заинтересованные в этом деле, невольно следовали, однако ж, за общим настроением чувств; даже малолетки, обыкновенно столь неугомонные, как-то притихли и сжались. Одним словом, тут только и было праздничного, что кушанья, которых было перемен шесть и которые однообразно следовали одно за другим, ни в ком не возбуждая веселья. Я тоже невольно задумался, глядя на эту семью... и о чем задумался?

«Что-то делается, – думал я, – в том далеком-далеком городе, который, как червь неусыпающий, никогда не знает ни усталости, ни покоя? Радуются ли, нет ли там божьему празднику? и кто радуется? и как радуется? Не подпал ли там праздник под общее тлетворное владычество простой обрядности, без всякого внутреннего смысла? не сделался ли он там днем, к которому надо особенным образом искривить рот в виде улыбки, к которому надо закупить много конфет, много нарядов, в который, по условному обычаю, следует призвать в гостиную детей, с тем чтоб вдоволь натешиться их благоприличными манерами, и затем вновь отослать их в детскую, считая все обязанности

в отношении к ним уже исполненными до следующего праздника? Сохранил ли там праздник свое христианское, братское значение, в силу которого сама собой обновляется душа человека, сами собой отверзаются его объятия, само собой раскрывается его сердце? Ведь праздник есть такая же потребность человеческой жизни, как радость – потребность человеческого сердца: это потребность успокоения и отдыха, потребность хоть на время сбросить с себя тяжесть жизненных уз, с тем чтоб безусловно предаться одному ликованию!»

И передо мной незаметно раскрылся знакомый ряд картин, свидетелей моего прошедшего, картин, в которых много было движения, много суеты, много даже каких-то неясных очертаний и смутных намеков на жизнь, радость и наслаждение... Но была ли это радость действительная, было ли это то чистое наслаждение, которое не оставляет после себя в сердце никакого осадка горечи? Вот он, этот громадный город, в котором воздух кажется спертым от множества людских дыханий; вот он, город скорбей и никогда не удовлетворяемых желаний; город желчных честолюбий и ревнивых, завистливых надежд; город гнусно искривленных улыбок и заражающих воздух признательностей! Как волшебен он теперь при свете своих миллионов огней, какая страшная струя смерти соверша-

ет свой бесконечный, разъедающий оборот среди этого вечного тумана, среди миазмов, беспощадно врывающихся со всех сторон! Сколько мучений, сколько никем не знаемых и никем не разделенных надежд, сколько горьких разочарований, и вновь надежд, и вновь разочарований!

«Господи! надо же было над Петруней такой беде стрястись! Кабы не это, сидел бы он здесь беззаботный и радостный; весело беседовало бы теперь за трапезой честное потомство слепенького дедушки... и надо же было слепому случаю пройти беспощадным своим плугом по этому прекрасному зеленому лугу, чтоб взбуровить его ровную поверхность и исполозать ее черными, безобразными бороздами!»

Размышления эти были прерваны докладом о том, что лошади готовы. Горько мне было садиться одному в сани, горько было расставаться с людьми, особенно в этот праздник, когда, и вследствие воспоминаний прошедшего, и вследствие всего склада жизни, необходимость общества людей как-то особенно живо чувствуется. Казалось бы, что общего между мной и этою случайно встреченною мной семьей, какое тайное звено может соединить нас друг с другом! и между тем я несомненно сознавал присутствие этой связи, я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, но горячая струя, которая, без ведо-

ма для меня самого, приобщает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам народной жизни.

II

На дворе было еще темно, хотя свет, очевидно, готовился уже вступить в права свои; мороз сделался как будто еще лютее прежнего; крепкий верховой ветер сильно буровил здесь и там снежную равнину и, подняв целые столбы снега, направлял свой путь далее, с тем чтоб опять через минуту вернуться и, подняв новые снежные столбы, опять нестись куда-то далеко-далеко. Холод и ветер тем более были для меня ощутительны, что я ехал в открытых санях, потому что должен был, после необходимых объяснений с становым приставом, опять вернуться на станцию, где, вследствие всех этих соображений, я и заблагодарассудил оставить свою повозку.

Вот и те три сосенки, о которых толковал мне старик; сквозь мутное облако частого, тонкого снега я видел только очертания их, но, вероятно, душа моя была слишком особенным образом настроена, что за плавным покачиванием широких их вершин мне именно слышалось, будто они жалуются и говорят о том, как надоела им эта долгая, почти бесконечная жизнь, как устали они от этих отвсюду вторгающихся ветров, которые беспрепятственно и безнаказанно оскорбляют их, то обламывая самые крепкие их побеги, то

разбрасывая мохнатые их ветви в какой-то тоскливой беспорядочности. Вот и озеро, которое подало мне о себе весть особенностью звука, издаваемого копытами лошадей, и ветками, которые часто натыканы здесь по обеим сторонам дороги... Я глянул в даль, и, не знаю почему, там, на самом конце ее, представился мне становой пристав, в виде страшного, лохматого чудовища, с семью головами, с длинными железными когтями и долгим огненным языком. И так ясно и отчетливо мелькало передо мной это странное и, к счастью, совершенно невероятное видение, что мне стало жутко, и я поспешил плотнее закутаться в шубу, чтоб не видать его кривляний.

Через полчаса я въезжал в огромное торговое село, в котором было много домов совершенно городской постройки. В одном из них помещалась квартира станowego пристава, и я еще издали мог налюбоваться на множество огней, которые, очевидно, были зажжены на детской елке. Огни горели весело и, проходя сквозь обледенелые стекла окон, принимали самые изменчивые и разнообразные цвета.

Становой, или, как его обыкновенно зовут крестьяне, «барин», был дома. Звали его Ермолаем Петровичем, по фамилии Бондыревым; по наружности же был он мужчина дюжий, и вследствие того постоянно отдувался и дышал тяжело, словно запаленная лошадь.

Лицо его, пухлое и отеклое, было покрыто слоем жирного вещества, который придавал его коже лоск почти зеркальный; огромная его лысина, по общему отзыву сослуживцев, имела свойство испускать из себя облако тумана в следующих двух случаях: во время губернаторской ревизии, когда, как известно, сердечные движения в уездном чиновнике делаются особенно сильны и остры, и по выпитии двадцать пятой рюмки очищенной. Голос у него был сильный, густой бас, сопровождаемый легкою хрипотой, и выходил из гортани как бы колом. К величайшему моему удивлению, это несоразмерное преобладание материи нимало не тяготило его; вообще он был на службе легок, как пух, и когда исполнение служебных обязанностей требовало с его стороны уже слишком усиленной деятельности, то вся его досада проявлялась в том только, что он пыхтел и ругался пуще обыкновенного. Впрочем, он был, в сущности, малый добродушный, и когда принимал благодарность, то всегда говорил спасибо, и этим весьма льстил самолюбию доброхотных дателей.

– Милости просим побеседовать в комнату, ваше высокоблагородие! – сказал он, встретив меня в прихожей, – у меня нынче праздник, детки вот развозились...

– А мне надо бы скорее ехать, – отвечал я не со-

всем впопад, все еще находясь под влиянием лохматого чудовища.

– Что же так-с? часом раньше, часом позже – дело не волк, в лес не уйдет-с. Заодно уж у нас покушаете, а после обеда и в путь-с. Мне ведь тоже с вами надо будет отправляться, так если сейчас же и ехать, не будет ли уж очень это обидно? Ведь праздник-с...

Я остался и отчасти был даже доволен этой поддержкой, потому что очень устал с дороги. В комнате, в которую ввел меня Бондырев, было все его семейство и сверх того еще несколько посторонних лиц, с которыми он, однако ж, не заблагорассудил меня познакомиться. Он только указал мне рукой на детей, сказав: «А вот и потроха мои!» – и затем насильственно усадил меня на диван. Из семейных были тут: жена Ермолая Петровича, бабочка лет двадцати пяти, которая была бы недурна собой, если бы не так усердно мазалась свинцовыми белилами и не носила столь туго накрахмаленных юбок; мать ее, худенькая, повязанная платком старуха с фиолетовым носом, которую Бондырев, неизвестно почему, величал «вашим превосходительством», и четверо детей, которые основательностью своего телосложения напоминали Ермолая Петровича и чуть ли даже, подобно ему, не похрипывали.

– Не угодно ли чаю с дороги? – спросила меня жена.

– Что чай! вот мы его высокоблагородие водочкой попросим, – отозвался Бондырев, – я, ваше высокоблагородие, этой китайской травы в рот не беру – от того и здоров-с.

– Вы из «губернии» изволите ехать? – обратилась ко мне старуха теща.

– Да, я недавно оттуда.

– Так-с. А как, я думаю, там теперича хорошо должно быть! Председательствующие, по случаю праздника, в соборе в мундирах стоят... сам генерал, чай, насупившись...

– Ну, пошла, ваше превосходительство, огород городить! – заметил Бондырев, – ну, скажите на милость, зачем генералу насупившись стоять! чай, для праздника-то Христова и им бровки свои пораздвинуть можно!

– Ах, батюшка мой! насупившись стоит по той причине, что озабочен очень!.. обуза ведь не маленькая!

– А по мне, так всего лучше певчие... это восхитительно! – вступилась жена, – при слабости нерв, даже слушать почти невозможно!

– Нет, вот на моей памяти бывали в соборе певчие – так это именно, что всех в слезы приводили! – перебила теща, – уж на что был в ту пору губернатор суровый человек, а и тот воздержаться никак не в силах был! Особливо был тут один черноватенький: запоет,

бывало, сначала тихонько-тихонько, а потом и переливается, и переливается... даже словно журчит весь! Авдотья Степановна, второго диакона жена, сказывала, что ему по два дня есть ничего не давали, чтоб голос чище был!

– Вот распроклятая-то жизнь! – молвил Ермолай Петрович, подмигнув мне глазом, и потом, обращаясь к теще, прибавил. – А как посмотрю я на ваше превосходительство, так все-то у вас одни глупости да малодушества на уме.

Но ее превосходительство, должно быть, уж привыкла к подобным апострофам, потому что, нимало не конфузясь, продолжала:

– Уж я, бывало, так и не дышу, словно туман у меня в глазах, как они это выводить-то зачнут! Да, такой уж у меня характер: коли перед глазами у меня что-нибудь божественное, так я, можно сказать, сама себя не помню... так это все там и колышется!

Мадам Болдырева глубоко и сосредоточенно вздохнула.

– Да, в деревне ничего этого не увидишь! – сказала она.

– Где увидеть! – одни выходы у его превосходительства чего стоят! Все чиновники, бывало, в мундирах стоят, и каждому его превосходительство свой реприманд сделает! И пойдут это потом каждый день закус-

ки да обеда – одних свиной для колбас сколько в батальоне, при солдатской кухне, откармливали!

– Ну, это-то заведение и доднесь, пожалуй, осталось – скорбеть об этом нечего! – флегматически объяснил Ермолай Петрович. – А что, ваше высокоблагородие, не угодно ли будет повторить от скуки? Водка у нас, осмелюсь вам доложить, отличная: сразу, что называется, ожжет, а потом и пойдет ползком по суставам... каждый изнает-с!

– Вот у моего покойника, – снова обратилась ко мне теща, – хорошу водку на стол подавали. Он только и говорит, бывало: «Лучше ничем меня откупщик не почти, а водкой почти!»

– Ну, это опять неосновательно, – заметил Бондырев, – пословица гласит: пей, да ума не пропей, – стало быть, зачем же я из-за водки другие статьи буду negliжировать?

– Да ведь и он, сударь, не negliжировал, а так только к слову это говаривал. Он водку-то через куб, для крепости, переганивал...

– Ну, а ваши как дела? – спросил я Бондырева.

– Слава богу, ваше высокоблагородие, слава богу! дай бог здоровья добрым начальникам, милостями не оставляют... ныне вот под суд отдали!

– Как так?

– Да просто-с. Чтой-то уж, ваше высокоблагородие,

будто и не знаете? чай, и вы тут ручку приложили!

– В первый раз слышу.

– Что ж-с, и тут мудреного нет! известно, не читать же вашим высокоблагородиям всего, что подписывать изволите!

– Скажите, по крайней мере, за что вы отданы под суд?

– А неизвестно-с. Оно конечно, довольно тут на справку вывели, и жизнь-то, кажется, наизнанку всю выворотили... одних неисполнительностей штук до полсотни подыскали – даже подивился я, откуда весь этот сор выгребли. Да-с; тяжеленька-таки наша служба; губернское-то правление не то чтоб, как мать, породительски тебе спустило, а пуще считает тебя, как бы сказать, за подкидыша: ты, дескать, такой-сякой, все зараз сделать должен!

– По пословице, Ермолай Петрович, по пословице! – «Свекровь снохе говорила: сношенька, будет моль; отдохни – потолки!»

Последние слова произнес неизвестный мне старик, стоявший до сих пор в углу и не принимавший никакого участия в разговоре. По всему было видно, что этот новый собеседник принадлежал к числу тех жалких жертв провинциального бюрократизма, которые, преждевременно созрев под сению крюкотворства, столь же преждевременно утрачивают душев-

ные свои силы, вследствие неумеренного употребления водки, и затем на всю жизнь делаются неспособными ни к какому делу или занятию, требующему умственных соображений. Он был одет в вицмундир старинного покроя с узенькими фалдочками и до такой степени порыжелый, что даже самый опытный глаз не мог бы угадать здесь признаков первобытного зеленого цвета. Но всего замечательнее в этом человеке был необыкновенный грибовидный его нос, на котором, как на палитре сочетались всевозможные цвета, начиная от чисто-телесного и кончая самым темным яхонтовым. Нос этот, как после оказалось, был источником горьких несчастий и глубоких разочарований для своего обладателя.

– Это жаль, однако ж, – сказал я Бондыреву, ощущая невольное угрызение совести при виде человека, которого погибели я сам некоторым образом содействовал.

– Ничего, ваше высокоблагородие! мы в уголовной-то словно в баньке выпаримся... еще бодрей после того будем!

– Это истинно так! – пояснил обладатель носа.

– А что, видно, и тебе горловину-то прочистить хочется? – обратился к нему Бондырев. – Ваше высокоблагородие! позвольте представить! Егор Павлов Абессаломов, служит у меня в вольнонаемных; про-

ку-то от него, признаться, мало, так больше вот для забавы, для домашних-с держу... Театров у нас нет, так по крайности хоть он развлечет.

– Ну уж, нашли какую замену! – презрительно процедила жена.

– А что ж! по деревне, лучше и быть не надо! – продолжал Ермолай Петрович, – об ину пору он нас, ваше высокоблагородие, до слез мимикой своей смешит!

– Если его высокоблагородию не гнушно, так я и теперь свое представление сделать могу! – отрекомендовался Абессаломов, выпрямляясь как бы пред наитием вдохновения.

– Прикажете, ваше высокоблагородие! Не чем так-то сидеть, так хоть на диковинки наши посмотрите... катая, Абессаломов!

– «Июля пятого числа»... – начал Абессаломов.

– Нет, стой! Не так рассказываешь! – прервал его Ермолай Петрович, – а ты коли охотишься рассказывать, так рассказывай делом: и в позицию стань, и начало сделай! Развозов! марш сюда и ты!

Последние слова относились к молодому человеку, служившему письмоводителем у Бондырева. Как оказалось впоследствии, он должен был в некоторых местах подавать Абессаломову реплику, через что представлению сообщалась особенная живость и вместе с тем усугублялся комизм. Очевидно, что кто-то (чуть

ли даже не сам Бондырев) с любовью работал над этой потехой, чтоб возвести ее от простого рассказа до степени драматической пьесы.

Абессаломов стал в позицию, то есть выдвинул вперед одну ногу, правую руку отставил наотмашь и, выпрямившись всем корпусом, голову закинул несколько назад. Все присутствующие улыбались, а некоторые даже откровенно фыркали, заранее предвкушая предстоящее им наслаждение. Абессаломов начал:

НЕВЫГОДНЫЙ НОС

(Интермедия в лицах)

Милостивые господа и госпожи! имею доложить вам о происшествии, которого удивительность равняется лишь его необыкновенности!

Смех в аудитории

Источником как сего происшествия, так и других многих от него зол текущих, есть сей самый нос (те-ребит себя за нос), который zde предстоит пред вами! А в чем сие происшествие, тому следуют пункты.

«Ишь ты! по пунктам!» – раздаётся в аудитории. Смех усиливается.

Июля пятого числа 18**года, в девять часов утра, следовал я, по издревле принятому еще предками нашими обычаю, на службу. Необходимо, однако, предварительно доложить вашим благородиям, что с самого с Петра и Павла, неизвестно от каких причин, подвергнулся я необыкновенной тоске. То есть тоска не тоска, а тянет вот, тянет тебя целый день, да и вся недолга. Даже жена удивлялась. «Чтой-то, говорит, душечка (она у меня в пансионе французскому языку обучалась, так нежное-то обращение знает)! Чтой-то, говорит, душечка! на тебя даже смотреть словно тошно – ты бы хоть водочки выпил!» – «Худо, – говорю я, – худо это, Прасковья Петровна! это большое несчастье обозначает!..» Однако ж выпил в ту пору маленько водочки – оно и поотлегло!

Вот только наступило это пятое число. Не успел я выйти на улицу, как идет мне встречу некоторый озорник, идет и очи на меня пучит. «Вот, говорит, нос! для двух рос, а одному достался!»

Взрыв хохота в аудитории.

Однако я ничего, пошел своей дорогой и даже по-

думал про себя: «Погоди, брат! не больно прытко! может, у тебя и рыло-то все наизнанку выворотит». Не успел я это, государи мои, подумать, как встречается со мной другой озорник. «А позвольте, говорит, милостливый государь! известно ли вам, что у вас на лице состоит феномен?» И все это, знаете, с усмешкой, и рожа-то у него поганым манером от смеху перекосилась... «Милостливый государь!» – сказал я, начиная обижаться. «Да нет, говорит, вы и сами не понимаете, каким обладаете сокровищем... да господа англичане миллион рублей вам дадут, ежели вы позволите им отрезать... ваш нос!»

Развозов. А что ж, это ведь правда: нос-то у тебя именно феномен!

Абессаломов. Отстань ты... дай говорить!.. Ну-с, отвязался он от меня коё-как, и пришлось мне после того мимо резиденции их превосходительства идти. А их превосходительство, как на грех, на ту пору чай на балконе кушали... Ну, занятия у них никаких тогда не случилось, смотрели, значит, больше по сторонам, да смотревши и узрели меня, многогрешного. Вскипели. «Что это, говорят, за чиновник? Какой у него противный нос!» Не спорю я... не прекословлю! Точно, что нос мой в присутственном месте терпим быть не может! Однако терпели же меня двадцать пять лет, да и их превосходительство, может, от праздности толь-

ко заметили... а вышло совсем наоборот-с. Пересказали, должно быть, эти слова мои завистники; только сижу я в этот самый день в присутствии, приходит наш председательствующий, и часа через два, что бы вы думали, я слышу? (С расстановкой). Что о моем, государи мои, увольнении уж и постановление состоялось!

Развозов. Однако живо же они тебя обработали.

Абессаломов. Спешным журналом-с. Даже законом предписанных форм не соблюли, потому что в законах именно строжайше повелено никаких штрафов не налагать, а кольми паче насильственному умертвию не предавать, не истребовав предварительно объяснения!

Развозов. В чем же, однако, объяснения от тебя требовать?

Абессаломов. Все же-с! а если не в чем мне объясняться, так тем паче-с! Ведь это обидно... я не один... тут все потомство мое, можно сказать, из-за носа страдает! В законах именно сказано, чтоб на лицо не взирать!

Развозов. Ты это оставь. Это не наша инстанция. Так даже скажу: если и напередки тебе на этот счет языком побаловать захочется, так ты вспомни пословицу: язык мой – враг мой, и, вспомнивши, плюнь. Я тридцать пять лет служу (Развозову было всего лет

двадцать пять), и то все кругом да около хожу, а в центре ни в жизнь еще не попадал!

Абессаломов. Вот-с, прихожу я после того домой. Человек я детный; жена у меня золотушная, так каждый год все либо дочку, либо сынка подарит...

Развозов. И все, чай, с такими же носами?

Абессаломов. Как можно – сохрани бог! старшенькая у меня дочь, Наташенька, совсем даже схожего со мной ничего не имеет... красавица! Так прихожу я это домой! «Ну, говорю, жена! Бог милости прислал!» – «А что так?» – «Да так, говорю, ездил в пир Кирило, да подарен там в рыло... уволен, брат, вчистую!»

Общий хохот; Абессаломов, в волнении, не может некоторое время продолжать.

И вот-с, стали мы после того жить да поживать, да добра наживать; живем, нече сказать, богато, со двора покато, за что ни хватись, за всем в люди покатись; запасов всяких многое множество, а пуще всего всякого нета запасено с самого с лета. Жена скоро покойницей стала, бо для нас время гладно настало, а дочек-красоток люди приютили, бо родители им продовольствие прекратили, а затем остаюсь, без дальнейших слов, покорный ваш слуга Егор Павлов Абессаломов.

Общие рукоплескания; жена станového презрительно усмехается.

Окончив представление, Абессаломов немедленно подошел к подносу с закуской и сряду выпил три рюмки водки; после того он удалился в угол и, сев на стул, почти мгновенно заснул.

– А что, ваше высокоблагородие! – обратился ко мне Бондырев, – вот вы и в столицах изволили быть, а этакого в своем роде дарования и там, чай, со свечкой поищешь!

Но я не отвечал ни слова на этот вопрос, потому что впечатление, произведенное на меня этим странным существом и его рассказом, было из самых тяжелых. Несмотря на грубо комический колорит рассказа, видно было, что весь тон его фальшивый, и что за ним слышится нечто до того похожее на страдание, что невозможно и непозволительно было увлечься этою мнимою веселостью. Вообще, если Ермолай Петрович рассчитывал на то, чтоб позабавить меня, то далеко не достиг своей цели, и день мой был окончательно испорчен этим представлением. Я ехал сюда измученный моим одиночеством; все существо мое было настроено к принятию тех благодатных, светлых впечатлений, которые, бог весть почему, в известные

дни и эпохи неотразимо и неизменно носятся над душой, но странное «представление» мигом разрушило это светлое, гармоническое настроение. Так иногда случается, что в правильное и совершенно плавное течение жизни вдруг врезывается обстоятельство в полном смысле слова ей постороннее, и врезывается с такой силой, что не только заставляет принять себя, но и деспотически подчиняет себе весь строй этой жизни.



Начинало уже смеркаться, когда мы приехали на станцию. По селу и там и сям бродили группы подгулявших крестьян, а перед станционным домом стояла даже целая толпа народу.

– Верно, что-нибудь случилось! – еще издали заметил мне Бондырев, указывая на толпу.

И действительно, толпа, казалось, тревожно выжидала нашего приезда. Едва успели мы выйти из саней, как все это вдруг заговорило и беспорядочно замахало руками. Из избы долетали до нас звуки того унылого голошенья, услышав которое даже самый опытный наблюдатель не в состоянии бывает определить, что скрывается за этими взвизгиваньями и завываньями: искреннее ли чувство или простой формализм.

– Что случилось? – спросил Бондырев.

– Петруха... Петруха... – раздалось в толпе.

Сердце мое болезненно дрогнуло.

– Племянник у нас бежал, ваше благородие! – отвечал, выступая вперед, один из сыновей дедушки.

– Рекрут, что ли?

– Рекрут, ваше благородие.

– Ах, шельмы вы этакие! – и снисхождения-то вам сделать нельзя!

– Имят его, ваше благородие! сам отец пошел, – робко проговорил дядя Петруни.

– Да, изымают, держи карман! А не было ли у него на селе любезной? – спросил Бондырев, чутьем угадывая истину.

– Маврушка Савельева, чай, знает! – молвил кто-то в толпе.

– Что ты! перекрестись! – почти завопил, протискиваясь сквозь толпу, седой старик, должно быть, отец Мавруши, – ничем моя Маврушка тутотка не причастна, ваше благородие.

– Ишь ты какое дело случилось! – снова начал дядя Петруни, – ничем мы, кажется, его не избидели, а он вот что с нами сделал!

– А вот мы это после разберем! – отвечал Бондырев и, обращаясь к толпе, промолвил: – Чтоб был у меня рекрут найден! все марш в лес искать!

И, сказав это, величественным шагом потек в избу порасправить в тепле свое белое тело.